Павел Мейлахс

«НО Я БЫЛ ПЕЧАЛЕН»

АНГЕЛ

Непонятно, как он оказался в сказочном городе. Островерхие крыши, черепица, плющ, булыжная мостовая, множество милых узеньких улочек и каналов. В этом городе жили маленькие симпатичные человечки. Человечки – потому что они были хоть и взрослые – бакенбарды, фалды, - но величиной с него, а ему было девять лет. Во как здорово!

Но тут налетел ветер, а потом и дождь. Человечки мгновенно разбежались, на улицах стало пусто. Он ткнулся в одну незнакомую дверь, в другую, но они были заперты. И ему ничего не оставалось, как брести, куда глаза глядят. Не стало ничего волшебного ни в черепице, ни в плюще. Просто холодно и льет. Где дорога отсюда? Он уже дрожал от холода и от горя.

Мама…

В полной безнадежности, уже скуксившись и хлюпая, он выбрел на площадь. После улочек она казалась очень просторной. И напротив него, перейти площадь, стоял дом с башенкой, а на башенке – часы. Он даже помнил, как называется такой дом, но нет… из головы вылетело. Что-то такое: «уш»… «шу»… «руш»… не вспомнить. Зачем-то он пошел через площадь, к дому.

Но откуда-то – он и не заметил – взялся человек, причем нормального, взрослого роста. Это был весьма приличный господин средних лет, упитанный румяный здоровяк. Человек шел навстречу.

И вдруг дождь перестал. И ветер успокоился.

- Куда путь держишь? - спросил человек с улыбкой. Видимо, он был вполне расположен.

Он обрадовался. Может, этот дядя его выведет?

- Заблудился… - вздохнул он, жалостливо глядя на человека.

- А чего забрался сюда?

- Не знаю.

Он старательно пожал плечами, не спуская глаз с дяди. Он и правда не знал. Ни почему забрался, ни как забрался.

- Не знаешь… - призадумался дядя.

Он молчал.

- А знаешь, кто я? – неожиданно спросил дядя.

- Кто? – от любопытства у него даже глаза округлились.

- Я - ангел.

- Какой ангел?

- Ну, у каждого человека есть свой ангел. Вот я – твой ангел. Пора нам познакомиться – ты уже не маленький.

Взрослые ко всему добавляют «ты уже не маленький», что, разумеется, означает, что ты еще маленький. Во всяком случае, они так считают.

- А крылья у вас есть?

Он обратился к ангелу на «вы», потому что ангел был взрослый.

- Чего не наболтают, - шутливо отмахнулся ангел. И добавил:

– На «ты» меня можно называть.

- Аа… А лук со стрелами?

- Это ты меня с амуром спутал, - ангел засмеялся и потрепал его по голове. Это обнадежило.

- Аа… ну да… А вы не знаете, как мне домой попасть?

Просьба в форме вопроса. Он смотрел на ангела чуть ли не с мольбой.

- Ты успокойся, - и ангел назвал его по имени, – домой ты попадешь.

- А как тебя зовут?

- А так и зови: ангел. Домой я тебя отправлю, но нам надо поговорить. Ведь ты большой?

- Да-а-а… - он впервые засомневался, что он большой.

Ангел посмотрел в небо, где уже выглядывало солнце, помолчал. И вдруг спросил:

- Чего ты хочешь от жизни?

Он смешался. Никто с ним столь серьезно не говорил. «От жизни» - надо же. Да и в самом деле – ему как-то было в общем понятно, чего он хочет, но взять так и ответить, как у доски… Действительно: а чего он хочет? Нет, он не мог ответить.

- Глупенькай, - сказал склонный к ерничеству ангел, - того, чего ты ждешь от жизни, не будет в ней. Ни одна из твоих надежд не сбудется. Иди лучше к нам, сейчас, в нашу страну песен и снов.

Он испугался. Он ничего не понял.

- Ангел, а домой-то я попаду?

- Конечно, попадешь, если захочешь, - с толикой раздражения ответил ангел и опять успокоительно погладил его по голове, - это очень просто, ты не об этом сейчас думай.

- Ну тогда… А что это за такая страна?

- О, ты даже не представляешь. Там все твои мечты. Там нет страхов. Там – свобода. Да так не объяснить - ты сам все увидишь.

Но он не понимал, он ничего не понимал.

- Так у меня и здесь все хорошо. Зачем еще страна?

Ангел молча смотрел на него с какой-то непонятной грустью.

- Не знаешь ты, дурачок, куда лезешь… А потом будет поздно.

Он вовсе не хотел огорчать ангела. Даже струхнул.

- Ты не умеешь быть человеком, понимаешь? Ты – наш.

Опять ничего не понятно. И вообще, что это такое: «быть человеком»?

- Я – ваш? А как это?

- Ладно, - ангелу, похоже, надоело, - иди домой. Не забудь переодеться.

- А как идти?

- Да просто иди и все.

Ангел смотрел в сторону.

- Тогда до свиданья?

И он пошел домой.

Чего он «ждал от жизни», он так и не понял. И так и не понял, правильно ли он сделал, отклонив предложение ангела.

ЖИЗНЬ

Я в той поре, когда можно с гордостью провозгласить: я ни о чем не жалею! Правильно. Что еще остается, когда уже ничего невозможно изменить? Только гордиться.

Я и горжусь. Я горжусь тем, что живу на четвертом этаже, что у моей соседки-пенсионерки фамилия Дорофеева (это я случайно узнал, роясь в своем почтовом ящике), что на работу мне надо добираться до станции «Технологический институт», (а не, скажем, «Московская» или «Василеостровская»), что у меня родинка на спине (а то есть субъекты, у которых родинка на плече, не говоря уж о тех, которые вовсе без нее обходятся), горжусь, что у меня темные занавески в полоску, что у меня микроволновка «LG», что я, как теперь говорят, «офисный планктон», отупевший от многолетней работы и продолжающий тупеть.

Кто бы на моем месте не возгордился?

…Я многое бы сейчас отдал, чтобы вокруг меня была только вода, невидимая в темноте, разве лишь иногда напоминающая о себе легкими всплесками. Я бы лежал навзничь и куда-то бы дрейфовал по черной воде, и надо мной горели бы звезды. Наши, здешние звезды — они не светят, они горят. Я ни о чем не думаю, все думы я оставил позади. Мне теперь не нужно думать. Звезды меня не выдадут, не отдадут. Вода не выдаст. Я все дальше, дальше, дальше… И никакая сила не вернет меня назад.

Но лежу я на своей кровати, свет выключен, и ни воды тебе, ни звезд. Тихо. Раньше, помню, болботал кран, шумел унитаз, капли из-под крана на кухне с большой точностью отсчитывали что пожелаешь. Сейчас ничего этого нет. Ночные звуки умерли. Скрип половиц — где ты? Холодильник — новый, бесшумный.

…В детстве я представлял, что за стеной напротив работает лифт, каждую ночь он прикатывает из темноты, оттуда вылезают *армяне* и принимаются за работу. А работа у них такая — делать *арфы.* Да, каждую ночь у меня за стеной армяне делали арфы. Хоть я и понимал, что сам себе это наврал, иногда невероятно хотелось, чтобы армяне вышли из стены. В такие моменты я, кажется, верил, что и армяне, и арфы — все настоящее. Но они так и не вышли.

Не помню ни армян, ни арф. Сохранились только слова. И самые общие очертания, - вероятно, ни к селу, ни к городу. И теперешняя стена - это уже не та стена.

И все-таки, хоть той ночи со звездами и не было, не было окружающей меня воды, я сумел представить ее на миг-другой. Это как бы передышка, коротенький отпуск от жизни. Тогда я верю, что есть какая-та иная, какая-то не такая жизнь, где все другое. И я там другой. Может, Стенька Разин, который из-за острова на стрежень, а может, легендарный герой Дикого Запада Джон Уэсли Хардинг, а может просто ухарь-купец, удалой молодец, но уж никак не надоевший сам себе клерк. Я там красивый и сильный.

Вышел на улицу весел и пьян, в красной рубахе, красив и румян. Вот я там какой!

И мне становится легче, как истомленному сухим жаром больному, которого, наконец, прошиб пот.

К сожалению, передышка была недолгой. А сон все не шел. Я давно уже ложусь пораньше, но раньше от этого не засыпаю, хотя с самого момента пробуждения я хочу только одного — лечь спать. Мне нужны моменты перед засыпанием. Тогда я предаюсь мечтам, то есть воспоминаниям — мечтам назад. Обычные мечты, о будущем, остались в прошлом - какое, на хрен, будущее?

Но сейчас бы я предпочел просто уснуть после весьма утомительного дня, на сей раз, к тому же, переполненного производственными передрягами, отзвуки которых не переставали доставать меня и сейчас.

…Я прикрыл глаза и увидел, как колко сверкает снег под фонарями. Было холодно, слипались ноздри. Только огни новостроек, - и ближних, прямоугольных, отчетливых, дающих желтый свет из окон, и дальних, сливающихся в сплошное, как будто слегка покачивающееся марево, - сулили мещанские уют и тепло, от которых я сейчас ох как бы не отказался! Но нигде в другом месте тепла не найти. Мороз везде. Сквозь ближайшую арку друг за другом пошли темные люди, не успевшие пока попасть под свет фонаря и обрести хоть какой-то цвет – скорее всего, двадцатка подошла. Я слышу их скрипучие морозные шаги. Да, и детская площадка для гопоты, которую я определенно где-то видел. Ракета, сваренная из изогнутых металлических прутьев, несколько кладбищенски посеребренная. А там дальше будет каток – его и сейчас хорошо видно, и его, и катающихся… А ведь если я повернусь, то, я чувствую, я тоже увижу что-то знакомое… Кстати, и уроки сделаны…

Мой старый двор, неужели это ты! А я почему-то уверился, что тебя нету. А ты вон где, оказывается; точно такой, как был.

И все-таки, где ты, ведь я тебя вижу?

Да ясно где – у меня в голове. Того, моего двора и вправду нет – там все изменилось до неузнаваемости.

Но все-таки, пока не погасли все лампочки в моей голове, ты будешь жить хотя бы во мне. Жалко двора; как же так получилось, что он так глупо зависит от меня? Ведь когда-то мне ничего, кроме него, не было надо, в нем было все. Киношка была своя. И сколько еще прекрасных вещей зависит от бренного меня, и ничего тут не поделаешь.

Я проживаю свою жизнь заново. Другой у меня не было.

Все это погибнет. Может, даже не столько себя жалко — жалко этих картинок. А воспоминания — так те просто издеваются: они настолько явственны, что кажется, будто это прямо сейчас происходит, и только через мгновение с горечью соображаешь, что происходит это только в твоей голове.

Помню, мне нравилось сесть на какой ни попадя трамвай и ехать согласно малознакомому маршруту. Слишком уж далеко я не заезжал — боялся заблудиться, - но от дома отъезжал порядочно. Проделывал я это только зимой. Когда потеплее, можно и просто так шататься.

Хорошо помню морозный вечер, когда трамвайные окна обметаны аэрокосмическим инеем, и ты едешь среди размазанных огней подобных друг другу новостроек — огни желтые, красные, синие; долго едешь прямо, и везде одно и то же, лишь громоздкий трамвайный поворот что-то изменяет, но прежняя размеренность быстро возвращается. Я любил соскабливать ногтем с окна загибающуюся стружку инея, соскабливал, пока палец окончательно не онемеет, а еще можно было продышать небольшое смотровое как бы озерцо в окне и сквозь нежный ледок разглядывать сквозь него проезжающие мимо универмаги и универсамы. Почему-то именно в трамвае лучше всего было отдыхать от всего, отдыхать от себя.

Порой я вставал пораньше и шел в школу пешком. Учебный год кончался, дело шло к лету. Как было здорово на воздухе после долгой зимы. Прохожих было мало. Иногда я останавливался и некоторое стоял, словно опасаясь спугнуть что-то в себе. Я знакомился с собственным «я», которое казалось мне настоящим чудом.

Как до смешного давно это было…

Если на каждого человека где-то там заведено дело, то, скорее всего, у него есть и подельники. Сейчас они явятся, видимые только мне, да и то в моей голове. Но первым появился тот, кого я никак

не ждал. Это был Сережка Кнуров, с которым я учился во втором классе. Более рассудительно-занудливого человека мне потом редко доводилось встречать. Но почему-то мы корешились. Скорее всего, из-за нашей общей любви к велосипедным прогулкам.

В тот раз мы ехали долго — сначала выезжали из наших новостроек, которые уже порядком успели поглотить все окружающее, потом опять же долго среди строительных урбанистических пейзажей, и наконец попали в маленький поселок «Первомайское», преимущественно одноэтажный, с желтыми каменными домами послевоенной постройки. Кончался май, на деревьях шевелилась свежая нежная листва, не успевшая по-летнему огрубеть. Люди здесь были какие-то другие. Множество старух с авоськами. Нетрезвые мужики работяжного вида. Продмаг с хлебом и водкой. Здесь как будто и не знали, что совсем рядом на них надвигается огромный город-оползень. А вот и лесок — настоящий маленький лес, еще не тронутый урбанистическими превращениями. Лес — вот это здорово! Мы полезли туда с нашими велосипедами.

И там на поляне мы обнаружили что-то вроде стога сена (нам, тогдашним, по пояс). Правда он был какой-то странный, округлый, густо покрытый темными истлевшими прошлогодними листьями (разумеется, мы понимали, что никакой это не стог). Тогда что? И мы принялись своими «кетами» (кстати, куда они сейчас делись?) пинать не в чем не повинный «стог». Стог оказался сугробом. Нападавшие листья спасли его от солнца. Такой огромный — и это в конце мая! Что еще делать с ним, как не пинать? Полетели рыхлые льдистые брызги. Долго мы этак изгалялись. Потом надоело. Сугроб не сильно уменьшился в размерах.

И теперь мне вдруг стало стыдно, впервые с тех времен. Мне стало жалко его. Какого черта мы до него докопались? Мешал он нам? А он был такой большой и беззащитный…

Козлы… Я вздохнул. Сон опять отодвинулся.

А потом мы долго ехали по шоссе, среди уже дикого леса, без признаков близости города, и было все, что надо — ветер и солнце.

И велик. И Сережка Кнуров. Это и было счастье. А я тогда и не знал.

Домой вернулись к вечеру, еле живые. И счастливые.

Да, было дело… Хотя какая разница – было - не было? Теперь-то этого нет. А уж сколько сугробов намело и растаяло…

А я вот жив пока, не растаял. Не знаю, что за листья меня хранили. Уже довольно многих знаю, на которых листьев не хватило.

Иногда кажется, что все могло быть по-другому. Если бы я тогда то, если бы я тогда се… Мерзкое чувство. Мерзкое ощущение.

Опять двадцать пять! Ночной жор. Если вовремя не заснешь, то не получится заснуть от голода. Вопреки всем диетам я направляюсь к холодильнику и долго, неопрятно жру там полукопченую колбасу, грубо отпиливая кусок за куском. Здоровый образ жизни – это хорошо, но не не спать же из-за него. Колбасу запиваю какой-то сладкой синтетической водой.

Не успел дойти до кровати, как всплыли еще подельники. Одни из главных подельников, какие только бывают у человека. Родители.

Я даже до кровати не дошел, вернулся на кухню, да там и сел, в трусах, подперев голову локтями. Подельнички мои…

Своих родителей я не помню молодыми. Конечно, вспомнить-то можно, если повспоминать, но если не вспоминать, то в моем представлении они всегда стоят рядом, взявшись за руки, одинакового роста, пожилые и покорные, одетые во что-то старомодное и поношенное – их одежда характеризовала их даже лучше, чем полустершиеся в памяти заурядные лица, - она говорила о тоскливой, вечной нужде, пронесенной сквозь все исторические эпохи. Нужда – сказано громко. По крайней мере, на моей памяти никакой особой нужды не было. Но все равно, вкус, запах некого

нищенства никак не изгоняется из этой картины, состоящей из двух немых фигур.

Это была тихая, согласная пара. Я не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились. Но не помню я и проявления каких-то особых чувств. Монотонное, обыденное, неслышное существование, вероятно наиболее пригодное для обоих. И парой они мне теперь представляются не супругов, а, скорее, идеально подходящих друг другу соседей по коммуналке, с годами почти породнившихся.

Хотя что я могу знать…

Я был единственным ребенком у них. Родили они меня поздно.

И умерли они, как жили – тихо. Легкая смерть как будто отблагодарила их за очень уж нетребовательную жизнь. Правда, умерли не очень старыми. Мать пережила отца всего на два года.

Работали они всю жизнь в одном и том же месте. Мать на предприятии «Заря», а отец в конторе, названной какой-то сложной аббревиатурой, постепенно я ее забыл, осталось только широко распространенное для тех времен начало: «Лен». Мать работала экономистом, а отец – старшим экономистом.

Я иногда грущу о них, как всегда грустят о мертвых, думая, что что-то недодали им. Я грущу, что на свете их как будто и не было. И даже единственный сын ничего не может толком о них вспомнить. Тогда мне становится стыдно. И это все.

От них мне остались две вещи: маленькая, но двухкомнатная квартирка – не где-нибудь, а в центре! - и одно магическое слово: «спецальность». «Иметь спецальность», «получить спецальность». Вся жизнь, собственно, и состояла из спецальности. Чем дальше я рос, тем чаще слышал и от матери, и от отца: спецальность, спецальность, спецальность.

Талант, призвание… Какая ерунда! Да таких вещей и нет на свете. А что есть? Правильно. Спецальность.

Я еду дальше, а они так и стоят там, где остались стоять; я смотрю назад, а их взявшиеся за руки фигурки делаются все меньше, меньше, меньше…

Оставшаяся от них квартира — самая моя большая жизненная удача.

Живу я в той самой квартире. Живу один. Работаю по спецальности. Платят нормально.

Наконец, я озяб, сидючи в трусах на кухне. Фигурки родителей померкли окончательно. Но, раз уж такое дело, спать я не пошел, а прогулялся до полки, куда, я знал, был засунут выпускной школьный альбом. Не без труда я извлек альбом из пыльного завала, откинул твердую обложку и первым делом увидел себя молодого (старого). На меня он, правда, не глядел, а несколько по-ханжески завел глазки вверх. Я смотрел на себя и любовался. Хорошее лицо. Надежное такое, правильное. С таким только в военно-политическое училище поступать.

Убрал альбом с глаз долой.

Тут же где-то была и моя «роковая любовь» - в университетском выпускном альбоме. Но рыться в полке я не стал, тем более что был вовсе не уверен, что там этот альбом обнаружу. Три года мы учились вместе, и три года она не обращала на меня внимания. От так от. Просто, без затей. Страдания юного (старого) меня. Сейчас тот *роман* без поступков, с одними чувствами, да еще только с одной стороны, как-то размыло с годами. Но главное осталось. Она так и осталась для меня какой-то главной, краеугольной. «Мадонной», так сказать.

Иногда я даже думаю, что иметь при себе пожизненную Мадонну - в этом что-то есть. Кто знает, - может, как получилось - так и лучше? Я, должно быть, упустил целые ушаты счастья, но что бы с этим счастьем стало дальше? — неизвестно; а вот чтобы в жизни (в моем воображении) всегда присутствовал *идеал* - это ведь тоже своего рода везенье. Чтобы какое-то подобие молитвы жило в душе… Пусть я возвожу нужду в добродетель — а кто сказал, что нельзя?

Моя квартирка ночью окончательно утратила свое небольшенькое пространство, а оставила от себя лишь переходы — в туалет, на

кухню, в другую комнату… Включать свет я уже не собирался — слишком уж мое жилище ночью напоминает плацкартный вагон — не конструкцией, а ощущением вселенской затерянности и ненужности, и тот, кто даст об этом хотя бы ненадолго забыть, не идет и, похоже, не собирается. Где ты, братец Морфей? Или, если угодно, — бессонная ночь в больнице. Все чужое, враждебное, освещенное казенным светом. Надо бы мне другую ночную лампу, что ли? А то ночной свет у меня точно какой-то казенный, хотя и без него радостью тут не пышет.

После Мадонны к женщинам я стал относиться как-то… попроще, что ли. С той у меня не получилось, а раз так… А раз так — чего париться понапрасну? Я знал, что то сражение благополучно проиграно. А значит проиграна и война; больше случая не представится - все дается один раз. Мне не далось, - ну так, «теряя голову», делай это с умом. Я так и не женился — на фига?

Нет, случались и рОманы, и не хилые. И тестостерон, перемешанный с адреналином, и, так сказать, сердечная боль. Но какую-то самую мою глубь эти рОманы уже не затрагивали.

Я постарался представить Мадонну как можно отчетливее. У меня получилось — хоть рукой потрогай. И я улыбнулся в темноте, я опять увидел ее, тогдашнюю, в навсегда въевшимся в память светло-сером платье.

Сейчас она замужем, все у нее, вроде, нормально. Вот и хорошо.

Еще один подельник. Да нет, скорее даже сообщник, соучастник. Мы вместе начинали жить, вместе познавали мир, от алкоголя до женщин.

А потом пришло время, когда, казавшиеся нормальными до сих пор люди, в одночасье помешались на деньгах. Какая-то плохо понятная мне мономания овладела ими. Разговорами о деньгах было проговорено все — как прокурено. Тогда-то наша дружба и стала как-то теряться, уходить. У него новые знакомые, новые интересы, между тем и мне прежние тинэйджерские радости уже поднадоели. Так вот

постепенно и стали чужими. Не помню сколько лет назад я в последний раз ему звонил.

А ведь когда-то… Все на двоих. Жизнь на двоих. И *огромное небо* — особенно оно — на двоих. Была такая песня на слова Роберта Рождественского.

После третьего класса мы с отцом поехали на Черное море. Впечатлений было масса. Может быть, я тогда и увидел море в первый раз.

Но осталось одно, главное.

Мы с отцом оказались в относительно диком месте, у моря, после шторма (вероятно, тоже относительного). Но я и такого не видел. Это было мощно, красиво, опасно, даже когда ты на берегу. Но воспоминание относится не к шторму, а к тому, что было после него.

Мы стоим перед медленно успокаивающимся морем, отец приобнял меня за плечо. Море делится на три примерно параллельных берегу полосы. Первая — у берега, там до сих пор происходят какие-то водные беспорядки. Уже сильно дальше от берега море было темно-серым, взбаламученным, попросту грязным. А уж совсем далеко, за двумя полосами, оно было спокойным, светлым и зеленым. Зеленым так, как бывает зелено только море. Я и сейчас помню какую-то смутную тоску от того, что та, дальняя полоса казалась абсолютно недоступной, и не только из-за первых двух неспокойных полос и не из-за своей далекости, а как-то *вообще* недоступным. *Там* невозможно оказаться. Невозможно, и все, мир так устроен. Можно только подглядывать — это дозволяется.

Зеленое море до сих пор всплывает в памяти. Я его почти вижу.

Кем я стал? Обычным клерком. А самое смешное и самое чудовищное, так это то, что мне абсолютно никто не мешал! Всю жизнь делал, что попроще, чтоб забот поменьше, чтоб приставали пореже — и вот, на тебе! Очень ловко я научился подешевле

откупаться от действительности, ибо увернуться от нее невозможно. Никакой мистики — в юности избранная мною стратегия и была, с моей точки зрения, наиболее выигрышной. Я и учился-то хорошо только потому что постоянные разборки с учителями и родителями казались мне платой слишком непомерной для безделья. В сущности, все, что я хотел — это продолжения детства — жизнь и далее горит себе бесподобным бенгальским огнем — восторг! А от тебя-то и не требуется-то почти ничего! Чтоб я так жил сто лет. Правильно — я бы и проразвлекался всю жизнь, была бы возможность. Цель жизни — удовольствие, так я думал тогда, так думаю и сейчас. А все остальное — досадная помеха.

Хотя если теперь вспомнить наши тинэйджерские развлечения (девки, выпивка, музыка, трепотня о чем попало), то с точки зрения меня сегодняшнего большей мизерности и скукотищи и придумать невозможно.

Выпивка, компьютерные стрелялки, вялые интрижки… Жизнь ушла на то, чтобы ее не замечать.

Что-то я, однако, слишком строг. Ведь вовсе не сами эти занятия составляли суть тогдашней жизни. Сутью было вступление в настоящую огромную жизнь, в мир, открытый настежь бешенству ветров. Постоянное чувство предвкушения.

Поначалу этот житейский мир и был одновременно небесным. Раньше — ну хоть те же деревья — казались мне свидетельством чего-то, *проявлением* чего-то, даже *вратами* куда-то.

Именно это-то чувство и испарилось. Накрылось медным тазом, как говорится. А бабы, водяра? Что ж, можно их употреблять и так, попросту.

А дальше… Развлекухи и приколов все меньше, всяческой хрени все больше. Я и не заметил, как мир перестал быть одновременно небесным. Собственно, после окончания института жизнь-то и кончилась. Началась полномасштабная херня.

«Институтки смеялись на глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного

ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники… … В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она немедленно столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых вперегонку трактуют все учебники по истории — древней, средней и новой…»

Так может я просто старый дурак, всю жизнь прождавший армян из стены, да так и не дождавшийся; чеховская институтка Леля? «Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше».

Много больше. Потому-то я и не старался ничего менять, потому что всегда бессознательно понимал, что того, что я *люблю*, в природе не существует. К чему тогда весь геморрой? Пусть уж идет, как идет. Ходи себе на работу, как в школу; все, как всегда.

А может, так: жил, как привык жить, и, когда изначальная стратегия перестала быть выгодной, посыпаешь главу пеплом? Лучше было тогда не в морской бой на комсомольских собраниях играть, а к карьере работоголика готовиться? *Теперь* — было бы лучше. *Жизнью побрезговал,* а теперь жаба душит?

Уж не знаю, чего там больше. Да и какая разница, теперь-то уж.

Пока шел до кровати в голове промелькнул еще десяток подельников. Многие и не знали друг друга, только самомалейшая причастность к моей жизни сближала их, о чем они не подозревали.

Плюхнулся в кровать уже малость осатаневший от отсутствия сна. Мне бы вот какую кровать: бесконечную в обе стороны, с появляющейся в пальцах и самозакуривающейся сигаретой. Так бы я и лежал, не открывая глаз. Проживал бы заново воспоминания. Припоминал бы подельников. Да наверно ничего больше и не надо.

That was just your life.

Но тут, с нежданной радостью, я почувствовал, что мозг становится каким-то другим, измененным - именно таким, какой он

только мне и нужен. Не сон, но и не явь. Лучшее состояние — между сном и явью.

Зеленое море волновалось у горизонта под далекими, пропускающими солнце облаками.

Я — ящерица. Я выскочил на камушек погреться. И я с наслаждением греюсь; оказывается, я на острове, и зеленое море окружает меня. Ярко светит солнце, чтобы морю зеленеть, а мне греться.

Потом опять пошли чередой подельники, в каких-то случайных ситуациях, как всегда с неразличимыми лицами, но я очень хорошо вижу, кто есть кто.

Потом пошел я сам, с первых школьных классов, то за партой, то на катке, то в аудитории, то на картошке, то с девушкой, на которой я чуть не женился, то у себя дома, то за праздничным столом, то, Господи прости, у себя на работе, и несть конца, чего только не прошло перед глазами, как, говорят, бывает перед смертью.

И начхать мне было и на ученика, и на студента, и на несостоявшегося жениха, и уж тем более на всех приблудившихся. Даже в полусне чувствовалось, что начхать. Да и нет их давно в моем мире.

Под конец я долго ходил по каким-то однообразным комнатам, с одинаковыми подержанными столами в каждой.

- Это мироздание, - сообщил мне чей-то голос.

Я бродил, и комнаты все не кончались. На многих столах были разбросаны листы бумаги, не очень много. Я подошел к одному, к другому. В основном, листы были чистые, лишь на некоторых были некрупно написаны не очень большие числа — трех, четырехзначные. На одном я увидел деление столбиком трехзначного числа на двузначное. И это было все.

А утром я столкнулся глазами с самим собой в зеркале. Кто это? Я? Никакого «я» давно уже нет. Есть некая темная фигура, двигающаяся, говорящая. Я вполне свободно могу созерцать ее со стороны. Да, помнится, когда-то это самое «я» было. И этот в зеркале имел к нему какое-то отношение. Кто же все-таки передо мной?

Я не знаю этого человека.

СМЕРТЬ

На кой черт мне все эти картины? Зачем мне их показали? Поиздеваться, что ли? Похоже на то. Подлая шутка. Ведь они исчезнут, и тот, кто их показывал, знал это. Тогда уж лучше вовсе не надо было рождаться. Скольким людям повезло, и они не родились. А вот меня угораздило.

Я не мог не подумать о родителях. Они тут же явились моему мысленному взору. Они держались за руки, и оба смотрели вниз. Им было стыдно.

Наверно, я плох. Но зачем меня убивать? Неужели я плох до такой степени?

Да и почему только я? Вот эти люди вокруг — они, что, тоже настолько мерзостны?

Впрочем, вздор.

Бессмертны все, смертен я один.

Главное — не пытаться представить себе смерть. Как-то ее рационализировать.

Смерть — это перевернутая доска и горсть пешек в морду.

…Когда-то я ел по утрам манную кашу, размешивал там откромсанный сливочный кусман — в каше образовывались желтые, завивающиеся масляные спирали, только их предельная одомашенность мешала их сходству со смерчем; мать кладет мне в карман чистый носовой платок, с которым я не знаю, что делать, возвращаю его всегда нетронутым, не считая крошек…

Казалось, это никогда не кончится. А вот — кончается.

Никому не дам украсть у меня смерть. Не оскверню ее байками о загробной жизни. Я хочу испить ее до дна и насладиться каждой каплей.

Ничего меня здесь не держит, с собой я раззнакомился, - тогда почему мне порой так хочется заорать: Не уходи, жизнь! Не уходи, воздух! Не уходи, трамвайная остановка!

Я, что ли, в буквальном смысле прощаюсь с жизнью? Что-то должно вскоре произойти? И я умру?

А может, уже и пора. В конце концов — довольно я был заперт в этом сральнике!

Да нет. Я просто хорохорюсь.

Старики — обитатели камеры смертников. Не так давно до меня это дошло. В любую секунду страж может выдернуть любого из них и повести на казнь. Конечно, это ко всем относится, но… Есть нюансы. Количество и качество или что-то в этом роде.

…И уходят от нас Лехи и Галки, навеки шестидесятидвухлетние…

ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

«Я был братом многих братьев и сестер. Наш отец и наша мать были добрыми. Я глубоко всех любил. Однажды отец повел нас на пир.

Братья там очень веселились. Но я был печален. Тогда мой отец подошел ко мне и приказал мне отведать прекрасных кушаний. Но я не мог, и, рассердившись на это, отец прогнал меня с глаз долой. И я, с сердцем, полным безграничной любви к тем, кто пренебрегал ею, направил свои шаги в далекие края. Долгие годы я чувствовал, как меня разрывали величайшая скорбь и величайшая любовь. Тут пришла весть о смерти моей матери. Я поспешил, чтобы ее увидеть, и отец, смягченный горем, не препятствовал мне войти. И я увидел ее тело. Слезы потекли из моих глаз. Она лежала как доброе старое прошлое, в котором, по мнению покойной, мы должны были бы жить, как когда-то жила и она.

И мы в печали следовали за ее телом, и гроб был опущен. С тех пор я опять остался дома. Однажды отец вновь привел меня в свой любимый сад. Он спросил меня, нравится ли он мне. Но мне сад был противен, и я ничего не осмелился сказать. Тогда, вспыхнув, он спросил меня вторично: нравится ли мне сад? Дрожа, я ответил отрицательно. Тогда отец побил меня, и я сбежал. И вновь, с сердцем, полным безграничной любви к тем, кто пренебрегал ею, я направил свои шаги в далекие края. Теперь я пел песни — долгие, долгие годы. Когда я хотел петь о любви, она становилась для меня горем. А когда я хотел петь только о горе, оно становилось для меня любовью.

Так разрывали меня любовь и горе.

И однажды до меня дошло известие о благочестивой деве, которая только что умерла. И вокруг ее могилы образовался круг, в котором вечно, как бы в блаженстве, бродили многие юноши и старцы. Они говорили тихо, чтобы не разбудить деву.

Казалось, что божественные мысли легкими искрами, производящими слабый шум, непрерывно сыплются из могилы девы на юношей. Тогда мне очень захотелось так же бродить там. Люди, однако, говорили, что только чудо приводит в этот круг. Но я, творя молитву, с твердой верой, опустив взор, медленным шагом пошел к могиле, и прежде чем я мог об этом мечтать, я был в кругу,

который издавал удивительно нежный звук; и я ощутил вечное блаженство, как бы сосредоточенное в одном мгновении. И своего отца я увидел примиренным и любящим. Он заключил меня в объятья и плакал. А я еще больше».

Франц Шуберт, 1822

Я не помню, когда впервые услышал это имя. Что-то из раннего-раннего детства: «Причудницы форе-ели»… Но и тогда слова «Шуберт» я не слышал. А потом я его уже «всегда» знал.

Знал, но и только. И как-то, в гостях у своей тетушки, в городке, где на кинотеатре было написано «сёння» и «скора», я набрел на магазин, где, среди прочего, были и бэушные пластинки. Там я и наткнулся на песни Шуберта в исполнении Гундулы Янowиц. Конверт был довольно сильно потаскан, особенно с одного угла, но пластинка оказалось вполне чистенькой, ее, похоже, почти не слушали. Видно, прежний обладатель часто за нее брался, но довести замысел до конца — прослушать полностью — ему редко оказывалось по силам.

Помню, после этого магазинчика, я оказался среди зарослей царапучего бурьяна, высохшего и выгоревшего, как мои волосы.

Из-под зарослей не было видно земли. В моих «сандалях» на босу ногу быстро надоело по ней ходить, но бурьян был необыкновенно изобилен, а возвращаться было уже поздно.

В конце концов я спустился к сверкающей реке (солнце сияло по всему синему, нигде не подпорченному небу). Какое-то время я стоял у реки и радовался. И это тоже было счастье.

А дома я поставил пластинку.

То, что я там услышал, не могло существовать, это было просто невозможно, так не бывает. И тем не менее оно было мне предъявлено.

Начиналась «Зулейка I»…

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! — хотелось мне воззвать к кому-то, поделиться с кем-то, рассказать, ведь они не знают самого главного! Как можно жить, не зная этого!

Не может быть, но есть. Вот началась новая песня, и ты снова не можешь в это поверить, но она, не замечая тебя, рождается прямо перед тобой. К концу пластинки мне показалось, что я-таки слегка рехнулся. Я был на грани бреда, обморока.

Это было мое не первое, но главное потрясение, ослепление красотой. Этот день в белорусском городке изменил меня.

Потом пошли еще песни (все, насколько мне известно), симфонии, другие оркестровые сочинения, камерно-инструментальные ансамбли, фортепианная музыка, в том числе сонаты, мессы, вокальные произведения разного рода. Все, что я только смог нарыть за многие годы. И нарыл порядочно.

Ты был чудом, которого не знал мир. Чудом, которое ненадолго показалось и исчезло. И больше его не будет.

На тамошнем католическом кладбище мне довелось видеть мать, прижимающую к груди младенца, и слезы, которых формально не было, но которые я все-таки видел, бесконечно сочились из ее глаз; она плакала над тобой, Шуберт-младенец, а плачущая мамаша, был, видимо, я? Я не спас тебя, не уберег. А должен был. Это сумасшедшее чувство поселилось во мне глубоко и навсегда. Так и живет во мне, несмотря на свою бредовость.

Что же надо носить в душе, чтобы писать такое? Видимо, *все*?

…а я ведь тоже хомо сапиенс, и мне почему-то отрадно это сознавать, мне даже хочется привстать и приподнять свою чугунную голову…

Тогдашние «великие композиторы» все были, в общем, жизнеутверждающи, хотя и по-разному. А ты — не был. И так и остался на задворках, практически в качестве песенника.

Ну и пусть, что красота — путь в небеса, и небеса пройдут, как и все на свете.

Ты не утешал, не примирял, не обнадеживал, не вдохновлял, не окрылял. Ты просто давал передышку.

Появившиеся чуть позже романтики были гораздо упрощеннее (хотя и Шуберта, ошибочно, пусть и не без оснований, часто относят к романтикам; самое понятное в нем приняли за главное — так и в самом деле проще; не говоря уж о том, что все мы в очень разной степени романтики). Возможно, именно эта упрощенность много способствовала тому, что романтиков сравнительно быстро приняли и полюбили. А Шуберт был плохим романтиком.

Твои лучшие мелодии, и их было много, — они не просто «напевно» красивые, чудесные или прекрасные. Это - мелодии-знаки, мелодии-шифры, мелодии-символы, мелодии-афоризмы. Мелодии нашей здешней жизни. Всех наших чувств в самых разных жизненных обстоятельствах. Радость победы, горечь поражения, восторг на вершине, последние часы на смертном одре, молитвенное умиротворение, боль утраты… Шикарная прохлада летней ночи с пробирающим ветерком, игра в догонялки по ромашкам, надвигающийся осенний ливень холодным сумрачным вечером, ясные облака на майском закате, и вы смотрите на них, взявшись за руки, - да какая разница, можно перечислять и дальше, но дело не только в том, что у меня не хватит слов, дело в том, что я просто не смогу описать мелодию; я могу только сказать, что она очень важна для меня, хотя я и не знаю, почему она важна, и что она выражает. Шуберт писал музыку, а не трактаты.

От рожденья до смерти. Слушатель, ты видел все это. И будет. Каков итог? А таков: «и будет».

- Вы когда-нибудь слышали веселую музыку? Я не слышал.

Известные слова, приписываемые ему.

В сказки, сдается мне, он не верил.

Разумеется, твои мелодии не пронизывали бы меня до самой сердцевины, если бы не их несусветная красота. Красота, которую я ни до, ни после…

(Я не знаю, что такое красота, но обычно узнаю ее, когда вижу).

Однако часто ты брал мелодии вовсе непритязательные, хотя мог бы сочинить сколь угодно красивую. Видимо, просто не считал нужным. Достаточно они *проникающи.* Задача выполнена.

Но что я знаю. Куча незаконченных вещей. Одни попытки дописать Восьмую Симфонию чего стоят. Не знаю, как там все у тебя было. И уж подавно не знаю, что ты сам думал о своей музыке.

И умер ты очень рано. Я просто не могу себе представить, что было бы, проживи ты еще столько же, тем более с учетом того, что ты написал в своем последнем, 1828 году. Одном году.

Но ты не погиб. Ни Бетховен тебя не размолол, ни Бах не расплющил. Моцарт не рассеял. XX век не выбросил. Ты жил все это время и продолжаешь жить для тысяч и тысяч одиночек, не знающих друг о друге.

Когда-то музыка у меня из ушей лилась. А теперь я давно ее не слушаю. Не слушаю Шуберта. Он словно глумится надо мной своей недосягаемой, непостижимой и неизъяснимой, напрочь вышибающей мозги красотой, от которой только больно и ни капельки не светло; чем красивее — тем больнее. Не надо этого. Я и так все про себя знаю.

АЗАРТ

Великими и становились те, кто сумел принять сны жизни всерьез. Я вот не смог. Да я и не видел ее толком. Так, рябь какая-то. Изображение без звука.

Я не верю в потустороннюю жизнь. Но и в посюстороннюю тоже как-то плохо верю.

Людям, любящим вещи, и принадлежит этот мир. Они наследуют землю. Вещи, которые «вещные», которые можно потрогать руками, любовно погладить, в прекрасном расположении духа побарабанить по ним пальцами, показывать знакомым, грезить о них, будь то новый «Мак» или «Мерс», лыжи, велик, телик.

Я же никогда не любил того, что можно потрогать руками. В любви к женщине мне отказано. Что же касается Мадонны, то ее-то я как раз руками и не трогал.

Мне выдали жизнь. А она мне была не нужна. Я сыграл в ней лишь «кушать подано», да и то лишь потому что не сыграть в ней вообще ничего просто невозможно.

А подойдите-ка вы к человеку, напряженно следящему за рулеточным шариком, поставившему, скажем, на красное, и спросите его о смысле жизни. Он дико на вас взглянет и тут же с досадой — целая секунда потеряна! - вернется к приключениям шарика. Красное-черное, красное-черное, красное-черное, красное-черное. Это все, что он видит и слышит. А попытаетесь отвлечь его еще раз, так он пошлет вас к такой матери, о которой вы до сих пор, может, даже и не слыхивали.

Человек в азарте.

Именно азарт спасает от *голой* жизни, его гипноз, наркоз. Да с ним ты элементарно не один — собратья по азарту всегда найдутся, поэтому даже умираешь ты не вовсе в одиночку. Что значительно легче.

Кто-то находит азарт в работе, кто-то в деньгах, кто-то в политике, кто-то в науке, кто-то в экологическом движении, да неважно где. Где-то находят. Хотя и не все.

Найти место, где тебе азартно, — это и значит стать человеком. Это и имел в виду ангел, что я понял с большим опозданием, хоть это ничего и не меняло. Я так и не нашел такого места. Да, собственно, и не искал. Стало быть, так и не сумел быть человеком, как и было сказано. Жалею ли я об этом? Я не знаю. Наверно.

ЖУРАВЛЬ

Может быть пора угомониться,
Но я грешным делом не люблю
Поговорку, что иметь синицу
Лучше, чем грустить по журавлю.

Музыка — К.Молчанов, слова — Г.Полонский.

Есть люди, похожие на героя этой песни.

Они и в самом деле очень любят своего журавля. Так любят, что готовы лучше всю жизнь страдать без взаимности — даже без надежды на взаимность, чем примириться на какой-нибудь вполне комфортной синичке, не хуже, а то и получше, чем у людей.

Без надежды? Нет, не все так плохо. Иногда в небе вдруг покажется журавль, и тогда они счастливы, как никогда, как никто, им кажется, что все было не зря, что стоило пережить эту засуху ради этого журавля в небе, более того, в них вспыхивает безумная вера, что отныне они так и будут с журавлем в руке, который одновременно и в небе, и все теперь у них будет отлично, классно, офигенно! А почему раньше так не получалось? Да мало ли почему, неважно… Сейчас они об этом не думают.

Но вот приходит похмелье, и они опять привычно видят все тот же уплывающий журавлиный клин вдали, до которого не долететь и не дозваться. Небо пустеет. И они несчастливы. Они несчастны.

Что же им остается? Ждать. Ждать неделю, месяц, год, десять лет, всю жизнь — это уж как кому повезет. Без какой-либо гарантии дождаться.

Но они ждут, ибо ничего другого им не остается.

Ну а вдруг он еще раз прилетит? Прилетит и принесет эту передышку, этот коротенький отпуск?

Так и живем.

ДНИ

На эскалаторе я прикрыл глаза, и на меня поехало множество матово светящихся цилиндров эскалаторных фонарей. Они ехали и ехали, ряд за рядом, и были похожи на цилиндры искусственного льда, чуть ли ни дымящиеся. Я почувствовал, как будто мой язык примерз ко льду, я с болью отдираю его, оставляя на льду тонкую прозрачную кожицу, и чувствую соленое. Слишком много было цилиндрических тусклых полос, и взгляд начал захлебываться, а глотка давиться ими, трудно стало и смотреть, и глотать. Тогда я открыл глаза, и стал видеть двигающихся темными кучами людей, чуть разноображенные цветными вкраплениями.

Наконец, я на свежем воздухе. До работы — минут пятнадцать.

Так всю жизнь и проходил в этот дом.

Самое большое, на что меня хватает после работы — это сериалы. Я обжираюсь ими, как эклерами. Они, как правило, дурацкие, но там столько событий!

Так вот и досталось мне роль подглядывающего и подслушивающего, да еще за тем, чего никогда не было.

Блажен человек, любящий свою работу. Проклят тот, кто ее не любит.

Вот так.

А я хожу сюда, чтобы было, что есть и где спать.

В 1974 году началось строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Это я прочитал в метро, медленно и по буквам, с тщанием умственно-отсталого. А я ведь как раз в 1974 пошел в школу. Вон Александра Ивановна разоряется у доски: «И Камаз, и Бам, и Атоммаш»! Специальные стихи, авторы которых почти так же неизвестны, как сочинители анекдотов про Брежнева. «Атоммаш» мне казался каким-то атаманом, хотя я понимал, что он, пожалуй, что-то из разряда БАМ'а.

Но самое-то главное: я-то думал, что БАМ всегда был, а он, оказывается, в каком-то смысле мой одногодок. И только теперь я об этом узнал. Век живи, век учись.

Телефонные будки моего детства напоминали ментов. Серые и немного красного наверху.

И ведь было же все это, «БАМ», «Член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко»… А как приснилось.

Сегодня в подземном переходе какой-то субъект просил милостыню, держа на поводке двух собак (чтобы те охраняли ее, что ли? или для них он эту милостыню и собирал?).

Потом я вышел на Площадь искусств, освещенную синим и желтым, и там откуда-то играла брамсовитая музыка.

Выходной.

Суетливая маята сменяется одеревенением.

Я сижу за столом, не в силах допить чашку чая, который уже, должно быть, чуть теплый.

Голуби гуляют по противоположному карнизу.

Соседи взялись за пылесос.

Пойти куда-нибудь? Поехать?

Глухие удары, раздающиеся как будто из-под воды.

Бумммм… Бумммм… Бумммм…

Это где-то проходит жизнь. Вроде бы даже моя.

На кухне объявились тараканы. С чего б им взяться? Свое скромненькое хозяйство я поддерживаю в относительной чистоте.

Тараканов я убиваю голыми руками, а потом тщательно их мою. Руки, не тараканов.

Недавно из интернета узнал, что тараканы были и во времена динозавров. И были точно такие, как сейчас. Сколько навидалось тараканье племя! И до сих пор они бегают, шустрые такие, неизменные.

А у нас на Лютеранском кладбище с миром покоится Федор Федорович Шуберт. Сам видел.

Я помню, как впервые увидел свое лицо. Случайно натолкнулся на него в зеркале. Не в первый раз, конечно, но только теперь осознал, что этот вот — это и есть я.

Лицо мне не понравилось. Белесое, плоское, как будто стесанное. И еще я понял, что я — таков. И другим мне не быть.

Никакой трагедии не было. Было легкое разочарование, как будто на день рожденья мне вместо игрушечного танка подарили рубашку.

Необходимость «я» и неуместная случайность, произвольность важных для этого «я» вещей, событий, людей.

Абсурд - это отсутствие смысла там, где ожидаешь его увидеть. В молодости часто на меня накатывало. Потом постепенно прошло.

Ходил сегодня перед Адмиралтейством, среди бюстов. Там, где «кораблик негасимый». Гоголь, Лермонтов, Горчаков. Я знал, кто это такие, но вдруг почувствовал такую страшную далекость от них, что подумал о древнем германце, бродящем по улицам Рима. Здесь - чужие дела, чужие страсти, накопившиеся за сотни лет, выплескивавшиеся иногда даже в камень, но германец идет, ничего не зная о них и тупо глазея на чужое, неведомое ему, многовековое прошлое. И я почувствовал себя таким германцем. Оглянулся вокруг на разноцветную, как бы пляжную толпу, которая была в этот час везде - и вся толпа предстала передо мной такими же германцами.

Я немного поскучал среди бюстов и пошел прочь, смешавшись с остальными *налогоплательщиками.*

Опять зарядил по крышам холодный дождь. Линялые крыши сейчас, должно быть, мокрые, блестящие. Они блещут как новые, чего не скажешь о лежащей в ничтожестве земле.

Мне кажется, что дождь не ровный, он идет к нам из небесных клякс разных контуров и плотности; где-то он ливень, где-то он моросит, где-то его нет. Мы передвигаемся под дождем, не замечая этого, его интенсивность меняется слишком быстро и причудливо, и нам в итоге достается нечто среднестатистическое.

Хорошо у нас в городе. Дождь — когда захочешь, хоть летом, хоть зимой.

темные круги под черными глазами, бледность, какая-то даже иссохшесть лица, - лишь всмотревшись, не без удивления видишь, что она почти красива; рука от кисти к локтю почти не расширяется, вогнутый бицепс исчезает в коротком рукаве; отвращение ко всем

подходящим к прилавку, все время спрашивающим о чем-то, отвращение, переходящее почти в боль

Проснулся больным. Темно. Чувствую себя, как в доме с покойником.

Градусник показывает 39,4. Надо звонить шефу, а больничный не нужен, мне и так поверят.

А что у меня есть? Вроде аспирин где-то был. И «Нурофен», что ли, где-то я его недавно видел, не у себя ли дома?

Лежу под одеялом, закрыв глаза, знобит. Тягучая боль в голове.

Назавтра, вроде, полегче.

Мне приснилось, что Васильевский остров оторвался, и его унесло в море.

Я заглянул в колодец, и там глубоко плескалась вода. Вода была прозрачно-зеленая, светлела на всплесках. Неизвестно, что приводило ее в движение. Вода выглядела довольной и беспечной, ей было ни до чего, ни до кого. Ей просто нравится плескаться, вот она и плещется, плескалась и дальше будет.

Когда-то меня посещала чахоточная муза Шопена. Несмотря на ее чахоточность, от нее нестерпимо разило пудрой. Но меня тянуло к этому фатоватому подранку. Поза, фраза… Я не мог его не слушать, хотя было немножко стыдно. А порой просто обжирался до отвращения.

А какой чистой начиналась его музыка! Потом все это куда-то делось.

Я не мог без него, с тех пор как услышал Вторую Сонату в исполнении Гилельса, записанную в концертном зале в 1960 году. Или в 1961. Забыл.

А все-таки такие полонезы грешно слушать помимо водки.

Я живу в косвенном свете мебельных отсветов от люстр, фонарных бликов на асфальте, далеких окон, горящих из темноты. Самих источников света мне не разглядеть, я вижу только их отражения, превращения, исчезновения. Я живу при лучине днем и ночью.

На пустом дереве в окне еще остались почерневшие, прохудившиеся листья, уцелевшие во время листопада. Они чуть-чуть нарушают идеальную пустоту дерева. Но один лист почему-то перелетел с ветки на ветку. С миллисекундным удивлением понял, что это птица.

Кстати о птичках…

Помню первое ощущение от знакомства с музыкой Мессиана. Это был «Квартет на конец мира».

Потом были «Двадцать взглядов на младенца Иисуса». Потом - «Пробужденье птиц». Потом - «Семь хайку». Потом – «Ожидаю воскресения мертвых». Потом – все, что я смог достать, а потом скачать.

Мессиан создавал неведанное, неслыханное.

А не верь он в своего «Жезю», смог бы он так писать? Вот и я не знаю.

Лето сгнило, истлело, до него уже далеко, а до следующего лета еще дальше. Непонятно почему я вспомнил тот майский сугроб.

…а дождь все куда-то торопится, все спешит и спешит по крышам спш… спш… пш… пш… дождь идет *начерно*, он еще не разобрался, как ему идти и пока все ищет, все пробует, но ничего не подходит, так и перебирает свои варианты…

Этот сон я вспомнил внезапно, когда наклонялся, чтобы завязать шнурки на левом башмаке, перед выходом на работу. Кое-что из этого сна, оказывается, прилично сохранилось.

Я видел во сне киллера. Это был не просто киллер, но и мой наставник, киллер-ментор, так сказать. Он и держался менторски.

Мы сидим под тентом, за круглым столом, он – напротив меня. Одеты мы в шорты и майки. Должно быть солнцепек, раз мы в шортах и под тентом.

Он неспешно поучает меня:

- В нашем деле главное – найти ключ к человеку. Сколько патронов в барабане? – он вынул маленький револьвер, - семь. Столько же, сколько нот. Каждое гнездо – это нота. Просто так человека не убьешь. Надо знать, какие три ноты его убивают – у всех по-разному. Просто выстрелить каждый может, - да что толку? А вот узнать эти три ноты – это и есть наше ремесло. Трудное ремесло – тут и опыт нужен, и инстинкт. Не каждый на это годится. Понял, куда я клоню?

Растаяло, замерзло, присыпало. Вся земля – снег на льду. Хожу кавалерийской походкой.

Опаять накатила тревога. Неясная тревога. Несильная, но все равно беспокойно, неприятно. Последнее время такое все чаще. Как будто где-то что-то происходит и скоро оно доберется до меня.

Сегодня утром кружащийся снег вызвал во мне ощущение *кабаре*.

Потрясение, связанное с Бергом. Давно. «Три пьесы для оркестра». Правда, ничего в этом роде я тогда не слышал.

Из «Википедии» узнал, что его именем назван астероид, то есть, «подобный звезде». Где-то далеко летает 4528 Berg.

А потом был Веберн.

О да!

На работе включили, наконец, отопление — два дня сидел в теплом грубом свитере с постоянным соблазном напялить еще и зимнюю куртку. Все вокруг кутались и брюзжали.

И вот блаженство!

Я даже несколько разомлел, с удовольствием стащил с себя этот свитер и вдруг, на мгновение прикрыв глаза, увидел копошащиеся красные огоньки в сплошной черноте, огоньки напоминали милых букашек, но были огненны.

Это была моя родина. Оттуда я произошел. И никакой жизни, никаких жизней не хватит, чтобы вернуть меня туда.

Не нахожу в магазинах русских народных песен. Разве что «Ох мороз, мороз» в десяти исполнениях. А какие там залежи сокровищ! Так получилось, что я имею о них небольшое представление.

Хорошее настроение с утра, ни с того, ни с сего. И — удача — снова выходной.

Не высидел дома. Поехал на метро, куда глаза глядят. Вышел, где новостройки, хотя, конечно, не те, самые мои первые.

Я не заметил, что день сегодня туманный, только взглянув поодаль, где высился один из блочных домов, я увидел, что он подернут легкой морской мглой, как крейсер. И тотчас же, за этим домом я увидел еще такой же, но совсем уж подернутый, размытый, с едва различимыми окнами; это ослабленная копия отозвалась во мне пространственным эхом. Я с удовольствием глядел на ширь новостроек. Что-то во мне отдыхало. И я пошел им навстречу.

А потом назад к метро. Шел и смотрел.

Кусты, скомбинированные из тупых, коротких, коричневых пней, и только на самых верхних пнях их прутья становятся из коричневых красными.

Легкие сети лиственницы, с подвешенными к ним маленькими шишечками, как, бывало, фонарики на нашей новогодней елке.

А вот кусты, вытянутые, словно жилы, они тянутся своими крючьями к тротуару. В них застрял скрюченный осенний лист, очень похожий на чипс.

Перед метро люди ходили навстречу друг другу, по ходу друг друга, наперерез, наискосок, группами по одному, по двое, по трое, по пятеро, уходили и приходили, исчезали и появлялись, а я стоял, покуривая, окруженный лицами и тяжелой одеждой.

Щуплый старикашка весело и очень заразительно пил пиво. Много у него в бутылке напенилось, огромные пузыри распирали ее, смахивая на гигантские, деформированные пчелиные соты.

Вытащил себя за шкирку и долго волок по улицам, пару раз порывался сбежать, но, каждый раз, рванув за ошейник, продолжал себя волочь.

Я видел хождение людей. И пятьсот лет назад было это хождение, и тысячу. Такие же перемещения, разговоры.

И несть дна. Только покрышка.

И такими же важными все они себе казались, что-то значащими.

Азарт в действии.

Да и я сам, неизвестно с чего, кажусь себе что-то значащим. Даже без азарта.

И у всех одинаковое, здесь-и-сейчашное зрение, ощущение. Я полагаю, оно на всех одно и то же. Вот и у меня такое же.

И зачем это все? Я даже остановился, отойдя на край тротуара к стене. Некоторые прохожие оглядывали мое лицо и, как будто убедившись в чем-то, без интереса отворачивались.

Обратно дорога прошла легче, бежать было некуда. Но долго шел, однообразно. Разве что улица Рылеева сменилась улицей Пестеля. Смотреть по сторонам не хотелось.

И все ж таки, хоть и не досталось мне журавля, на синицу я так и не польстился. Пусть хоть это послужит мне утешением — стандартным утешением неудачника.

Я говорил, что жил ради удовольствий. Это неправда. Я жил ради слез и мурашек по коже. Я могу прожить и без божества, и без вдохновенья, с постоянным сознанием собственной конечности и быстротечности, конечности всей культуры и вообще человечества, могу прожить с ощущением собственной незначительности и собственной случайности, прожить без красивой или утешительной роли, в фатальном одиночестве, в изначально чуждом и всегда опасном мире, я могу прожить и без жизни, и без любви (я так и жил), но я не могу прожить без слез. А слезы у меня кончились.

ХОТЬ ЧТО-ТО

Умрешь — с собой не возьмешь.

Зато можно оставить. Всего оставить я не могу. Но могу оставить хоть что-то.

Например, то, как блестел на солнце свежевыкрашенный зеленый забор у нашей школы. Его было видно из некоторых окон. Это был уже конец школы, май был отличный, да еще и вновь покрашенный забор сиял с таким оптимизмом! Для меня он был чем-то вроде подтверждения — да-да, все действительно прекрасно! Я даже лишний раз ходил посмотреть на него из тех окон, откуда его было видно, а подходя к школе, задерживался.

Или не весной, а поздней осенью, почти зимой, я вижу, до чего четко отпечатался в грязи велосипедный след. Отпечаток остался чудом не тронут и замерз вместе с грязью, превратившись в замечательный рельеф — просто та же шина, только вогнутая. В мелких лужах поблизости вода замерзла, и можно было аппетитно хрумкнуть, наступив на одну из них. Один раз, в одной из таких

луж, подо льдом я обнаружил дохлую крысу. Было не противно, а как-то непонятно неприятно. С некоторым подозрением я оглядел другие такие же лужи. Все равно, хрумкать по замерзшим лужам — это было здорово.

Или вот, прекрасная твердая лыжня в морозный солнечный день. Все дышит здоровым, правильным образом жизни, праведным трудом и заслуженным отдыхом; я, научившийся кататься на лыжах не так, чтоб очень позорно, непривычные родители в лыжной сбруе, и я каждый раз заново вспоминаю, что они могут быть веселыми. А потом - наши бабушкинские розетки для клубничного, малинового, вишневого варенья, прекрасно заваренный чай, вся повеселевшая семья в сборе, славный дремотный час перед отходом ко сну.

Рыхлое небо с плохо оформившимися не то темными облаками, не то светлыми тучами; откуда-то слепенько брезжит желтое; наши многоэтажки, какие-то скисшие, несолидно маленькие (чего раньше за ними не замечал, только небо, оказывается, их и держало). Убогая толпа, будто нарочно сбившаяся в кучу, чтобы хоть как-то компенсировать свою мизерность; бестолковое скопище таких же трамваев. Отсыревшие и потемневшие блочные стены наших многоэтажек. И я сам, с некоторым отчаянием четко фиксирующий все это. Я очень хорошо ощущал, что я — часть всего окружающего. И нет исхода.

Или шоссе за нашим домом, в те времена пустынное, которое летом было ничего себе, шоссе как шоссе, а осенью, с проносящимся по нему чаще служебным транспортом, разбрызгивающим холодный аэрозоль, с равномерно расставленными столбами, уходящими в никуда и с обращенными вниз светом, светившим, казалось, непонятно зачем и для кого - это шоссе было для меня почти символом бесконечной, непреодолимой, несовместимой с жизнью бессмыслицы, пустоты, зряшности всего.

А вот весной, переходящей в лето, повсюду стояли цистерны с надписью «КВАС». Светит солнце, даже жарковато, но без луж у нас никак. Я иду, заглядывая в лужи, смотрю в прохладные отражения,

иногда подолгу – секунд, может, сорок, - наконец, влезаю в одну, трясу носком, так и иду дальше, а лужи все не кончаются.

Я сижу у себя за столом, непонятно чем занимаясь, потом, чувствую, что-то изменилось вокруг. Потемнело; ясно, сейчас ливанет. Дождь сначала застучал все чаще и чаще, потом зарокотал, еще немного и, кажется, заревет. Я подошел к окну и смотрел на дождь, на лужи, сплошные глазуньи на воде. Не без труда оторвавшись от окна я пошел неизвестно куда, бродить лабиринтами по небольшой квартире. Дождь был громок, но внутри меня было тихо-тихо.

Опять и опять, теньканье трамвайных проводов. Когда-то это теньканье было, возможно, первым, что я помню услышанным. Оно все время присутствовало. Трамваи приезжали, разворачивались, уезжали, иногда внезапно останавливались и застывали, потом, так же внезапно, лязгнув, трогались. Провода то и дело тенькали, иногда как будто чутким шепотом, боясь потревожить, иногда понаполненнее, поувереннее. Звук проводов разбудил меня. И время мое пошло.

Изредка мы с родителями отправлялись в парк, не помню какой, до него надо было долго ехать. Выбирались мы в те дни, когда парк становился практически безлюден. Мне там было скучновато. Но я был покладист, не капризничал, не ныл. Отец с матерью о чем-то разговаривали. И там были целые стены осенних листьев, желтых, красных, всяких. Целые стены осенних листьев. Не думаю, что только осенью мы туда выбирались. Но запомнил я только стены. И с тех пор ни разу там не был.

Этот парк и сейчас некуда не делся. Проходят редкие люди. И скамейка чернеет вдали.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Утро началось внезапно.

Я не понял, спал я или не спал.

Сон не сбылся.

Сон не сбылся.

СОН НЕ СБЫЛСЯ!

Эти три слова – единственное, что неотступно стучало в моей голове, хотя, несмотря на все усилия, я и не мог взять в толк, что эти слова значили. Я только понимал, что это – правда.

Я ходил в трусах и в майке по квартире, я не мог ни сидеть, ни лежать, я не представлял, что мне делать, и никак мне было не совладать с ошеломившим меня открытием, что сон не сбылся.

Вдруг мое внимание отвлекло пение за окном. Пели, скорее даже «выводили», «Степь да степь кругом». Я подошел к окну.

Весь небольшой двор был заполнен хором, похожий на один из тех, которые до сих пор я слышал лишь на пластинках с музыкой в стиле рюс. Или, лучше, на картину Репина.

Пели сосредоточенно, с торжественной скорбью, будто провожая в последний путь боевого товарища.

Меховые шапки, тяжелые шубы. Всем лет под шестьдесят. Я сразу понял, что это *хозяева жизни.*

Друг с другом они по имени-отчеству, но на «ты», как это у них, у настоящих мужиков, заведено. Или просто по отчеству. Толики да Шурики в прошлом остались.

«Передай кольцо обручальное». Это прозвучало с таким трагизмом, который я и не подозревал услышать во всю жизнь знакомой песне, которая, кстати, мне нравилась.

Над моей головой послышались бодро шлепающие, босые шаги, которые отвлекли меня от этих Петровичей-Михалычей, уже, кстати, допевающих песню.

- Ну-ка, солнце, ярче брызни! – грянул в одиночку тот, наверху. Чувствовалось, что он отлично выспался.

- У меня этих Александр в телефоне – хоть жопой жуй, - сказал где-то рядом Мишка-сантехник. Я обернулся, но ничего не увидел. Квартира исчезла. Исчезло все.

Какой-то непонятный полумрак. Я не очень твердо ступаю, я не знаю, где я, и мне поскорее хочется выйти туда, где посветлее. И я вышел на кладбище.

Это было обыкновенное кладбище. Но что-то показалось мне странным.

Через секунду я понял, что. На памятниках не было имен. Не было и двух дат, разделенных чертой. Вместо них были причины смерти.

Инсульт.

Умер от печени.

Гигантоклеточная глиобластома.

Разрыв сердца.

Спился.

Попал под машину.

Кладбищу не было конца. Различий между памятниками я не нашел.

Я стою на побережье, на узкой полосе песка между океаном и джунглями. Невыносимая тропическая яркость и жара спали, все вокруг остывало. И океан, и джунгли были спокойны. Я остался один.

Где-то негромко и невесело играла труба. Я стоял и чувствовал великую печаль…

ОТ ПУЗА

Я пою во всю глотку, никем и ничем уже более не сдерживаемый, и помогаю себе всем своим телом, мы поем вместе, - то вдруг нахлынет печаль-тоска, я морщусь, и слезы отдельными слезинками выдавливаются у меня из глаз, то вдруг долгая тоска уступит место моменту сладкой сентиментальности и тогда глаза лишь *туманятся слезою*; то сладкое обмирание охватит меня, как будто я увидела из окна своего суженного, еще не открывшаяся ему, сладкое обмирание

охватывает меня, и я пою любимому о том, что чувствую; чумазый и оборванный, хриплой, разнузданной песней я клянусь в любви своей суке-возлюбленной, и по моим щекам катятся грязные слезы, или, преисполненный ясного, гордого счастья, просто пою, пою от всей души, пою для себя, конь приплясывает подо мной, вокруг даль и ширь, пою долго и дивно, на всю даль; а этой песней я вытравливаю боль из себя, там всего три ноты, а слова — одна только буква «а», я монотонно раскачиваюсь, и двойная монотонность мало-помалу начинает брать верх над болью; у тенистой речки я пою про свою выброшенную на ветер жизнь, про несбывшиеся мечты, про мой городок, откуда я когда-то мечтал уехать и кем-то стать, но здесь же и остался, став никем, всего только и радости — пройтись до речки и петь у нее эту единственную песню, когда там никого нет; я в сельве, сижу у костра с калашом, и вокруг мои боевые товарищи, мы воюем против проклятых гринго, и так ловко у меня получается по-испански, и моя *гитарра* так слушается меня, так звенит! меня все слушают и всегда просят спеть, потому что каждый день у нас, как последний, мы исполнены силы и веры; Я ИДУ И ПРОПОВЕДАЮ НА ГОРЕ, НА ХОЛМАХ И ПОВСЮДУ, ЧТО РОДИЛСЯ ИИСУС, родился он — родился и я, только сейчас я понял это, я не могу совладать со своей радостью, потому что есть еще куча нерожденных, которые не знают, что не рождены, а, послушав меня, узнают, и я рад, что именно от меня они это узнают, это немножко мелко с моей стороны, но ведь это такие пустяки, родился не только я, родилась и эта песня, и, преисполненный радости, я иду и пою эту первую песню в этом новом преображенном мире; а вот я пою свою последнюю, я уже раззявил рот, но песня не трогается, я не знаю, я не знаю, что петь, и я продолжаю стоять с раззявленным ртом и только шумно соплю через него, - но меня это категорически не устраивает, ни зная ни слов, ни мелодии я затягиваю последнюю песнь, не представляя, что вырвется из моей глотки в следующую секунду, последняя песня то сходит на безнадежные низы, остается там, покуда у меня хватает дыхания, а потом она замолкает, я затягиваю по новой, и на этот

раз она достигает высот кукареканья, но тут мой голос опять отказывает, я закашливаюсь, песня обрывается, но я не сдаюсь, я вновь начинаю петь, то вверх, то вниз, то посередине, наконец… наконец я понимаю, что удовлетворен и теперь я готов; *не было ветру, не было ветру, да навеяло, да навеяло, не было гостей, не было гостей, да наехало, да наехало*, эта песня постоянно со мной, я напеваю ее вполголоса, как бы про себя, - несмотря на ее ясно выраженную, сосредоточенную и грустную, как бы ушедшую в себя мелодию, я не выпеваю ее, а почти бормочу, она мне очень помогает, особенно в такие моменты: я выкроил пять минут, чтобы прогуляться до поля, где поодаль, как бы сбоку, растет скособоченная, много раз бывавшая в употреблении маленькая гора, я вижу сразу много простора и воздуха, вижу бессолнечное светлое небо, на котором наворачиваются первые капли — в полном согласии с моим настроением, - и я, как уже сколько раз бывало, напеваю эту песню, небо, воздух, песня, мне, слава Богу, легчает, какие-то неброские птицы вьются в поднебесье, и ветер, хотя и несильный, норовит сдуть эту слабую стаю, все, пять минут кончились, и надо быстренько-быстренько назад, уходя, я с удовольствием ощущаю, как первые разрозненные капли тихо падают мне на голову; и тут меня швыряет в огненную цыганщину, но не в плясовую, а в страстно тоскующую, я вдохнул этой забубенной тоски и взмыл прекрасной, дикой песней, рванув с головы картуз и ударив им о землю; я бросился вон из-за стола, старый, исхудалый, больной старикан, потому что более не в силах выносить отношение моих детей, которые почти не скрывают, что я для них обуза и больше ничего, не обращая внимания на какой-то вроде бы переполох за спиной, я бегу дальше, пока не утыкаюсь носом в какие-то повешенные сушиться, но все еще сырые и теплые, пареные тряпки, я плачу от отчаяния, бессилия, и никакая песня мне не поможет, я чувствую этот пареный бельевой запах, он кажется мне отвратительным, сводящим с ума; я вышел из дома в темную, холодную осень, и тут же рванул ветер, и одновременно с ним зажглись два окна на стене дома передо мной,

мгновенно капитулировав, я резко сдаю назад, потому сразу стало ясно, что не осилить мне этого, нечего было и соваться; но я вновь схватил вырвавшуюся от меня песню: я мотыжу и мотыжу землю, сельскохозяйственный раб, и песня носится внутри меня, уносится и возвращается, чтобы опять пронестись, мне даже и петь не надо, я только мычу в ритм и приблизительно в мелодию, изредка я бросаю взгляд на солнце, но оно по-прежнему высоко, а песня все возвращается и возвращается, вводя меня в моторный транс, и тяпается мне все легче и легче, тем временем магнетическая сила этой песни все нарастает и нарастает с каждым возвращением, нарастает ее значительность и даже величие, пока я, наконец, не вижу с высоты всех нас, рабов, тяпающих такими же мотыгами, и песня обретает подобие гимна, принося мне в душу что-то вроде покоя и примирения, - и тогда я бросаю тяпку и пою ее во все горло, классно при этом свингуя; от пения у меня кружится голова, и я уже не знаю, в своем ли я уме или за гранью его, но зато я точно знаю, что я, наконец, вырвался, и, о чудо - я пою!

Не знаю, на что было похоже мое пение. Я его не слышал.

…Надо передохнуть. Я охрип, голос срывается, я обессилел. Но я хочу петь. Только сейчас я понял, каково это, так что мне надо только маленько дух перевести, и я запою еще лучше и краше!

Напрасно я отдыхал. Надо ковать железо пока горячо, а теперь оно остыло. Я опять слишком хорошо соображаю. Не напоешься перед смертью, не надышишься, не наешься…

АНГЕЛ

- *Здесь ты не прав. Нализаться можно всегда.*

- *Ангел?*

- *Давно не виделись.*

- *А я тебя ждал…*

- И я пришел.

- Я спятил или помер?

- Два раза нет. Но в списке живых ты больше не значишься.

- …Я, наверно, чего-то не понимаю.

- Смерть – это так, лампочка перегорела. Твое подлинное существование начинается после жизни. Ничего не хочешь спросить?

- Продолжай.

- Теперь ты сможешь сделать только одно. Годы, которые тебе оставались, ты можешь передать тому, кому пожелаешь.

- Постой… Я не это решил. Я…

- Ты ничего не решил. Это я решил. Надоело смотреть, как ты барахтаешься – ни туда, ни сюда. Без твоих «журавлей», как ты выражаешься.

- Но ты меня даже не спросил!

На это ангел никак не отреагировал. Он просто продолжил:

- Помнишь наш последний разговор? Когда тебе было девять лет?

- Да, конечно.

- Теперь бы согласился?

- Да. Делать мне здесь было нечего.

- Так кто оказался прав? Нам, ангелам, виднее. Я твой ангел, и я лучше знаю, что тебе надо. Иначе зачем мы нужны?

- Но тогда ты меня спросил!

- А теперь не спросил. Поверь, ты сам скоро поймешь, что так будет лучше. Главное, не бойся.

Я молчал. Ангел тоже. Немного погодя вздохнув, заговорил:

- Та же история всякий раз… Никто никогда не соглашается. А потом - как ты…

- Ты ко всем подходишь с таким вопросом?

- Не ко всем. Не только я. Успокойся уже…

ВИЗИТЕРЫ

Первым заглянул дед; как он сказал, ему был восемьдесят один год. Длинный, седой, крепкий, кажущийся очень твердым на ощупь, словно состоящий сплошь из жердей. И стариковские глаза всматривались в меня так живо и осмысленно. Таков был фоторобот его души, составленный мной.

Смородa у него в огороде, кружевник. Он не может простить себе, что умер, оставив свою смороду без присмотра - почему-то особенно напирал он на смороду.

- Ну и как же мне быть, со смородой?

Еще он рассказывал мне про свою баню – что ж с нею-то будет?, это с его-то Васькой и с Васькиной Зинкой?!

Я ему отчасти сочувствовал, но смородa – это уж чересчур. А главное - пожил же он все-таки.

Вторым был парень. Просто парень. Я ждал, когда он заговорит. Но он молчал. Я заговорил сам.

- Ну а с тобой что случилось?

- В окно к одной лез, да не долез.

Я, кажется, уже все понял, но зачем-то продолжал спрашивать.

- А зачем лез?

- Надо было, и лез.

- Понятно, понятно… И что случилось?

- Темно было, малость не рассчитал…

- Пьяный сильно был?

- С чего вы взяли? Да нет, две бутылки пива только и выпил. Там совсем немного оставалось, но нога соскользнула, я и полетел. Да по дороге так головой приложился, что дальше мог бы и не лететь, хэ. А так, может, и откачали бы.

- Сколько тебе лет?

- Восемнадцать.

- За жизнью пришел?

- Да.

- И что ты от нее хочешь?

- Долезть хочу.

Мне было очень скверно говорить ему «нет». Все правильно, лучше ему жить, чем мне, но что-то держало меня, как на цепи, хоть я и чувствовал себя старым уродливым скрягой.

Парень вздохнул. И я понял, что он избавил меня от необходимости что-то ему отвечать.

Потом появился субъект, одетый с низкопробным артистизмом – один шейный платок чего стоил, да еще и роза в петлице. Но ясно было, что ему это очень нравится – именно это вызывающее дурновкусие. «Королева играла в башне замка Шопэна». Я видел его, как живого.

Субъект сразу же перешел к делу.

- Я слышал, освободилась вакансия.

- На что?

Я притворился, что не понимаю, о чем он. А он удивленно поднял бровь:

- Годы освободились. Вы бы не хотели отдать их мне? Вам-то они ни к чему.

- С чего вы так решили?

Субъект презрительно усмехнулся:

- Иначе вы бы здесь не сидели.

- Допустим, но почему именно вам?

- Да вам-то какая разница? А мне эти годы просто необходимы!

- Могу я узнать, почему?

Он хотел было презрительно фыркнуть, но понял, что в его положении это было бы неразумно. И сразу же сменил тон с высокомерного на доверительный:

- Понимаете, вот какая история со мной приключилась: я повесился. И… обкакался. Просто кошмар: вы не поверите, какую записку я им написал, - просто шедевр - и тут такое… Слов просто нет.

- Понимаю… И что вы сделаете с этими годами?

Он притворился удивленным (а может, и не притворился, черт его, дурака, знает):

- Как что? Застрелюсь на этот раз. Я бы лучше отравился, но, говорят…

- Нет.

- Что «нет»? Не хотите отдавать?

- Не хочу.

- С вами просто невозможно, вы как собака на сене. Ну посудите сами…

- Пошел вон, дурень!

Он исчез.

Потом был жалующийся на судьбу. Все у него было хорошо, жена, дети, работа, отпуск. Раз в один из таких отпусков отправились они с женой в Эскуриал, а он возьми там и помри. Можно сказать, прямо на могиле Филиппа II и помер. Уже потом узнал – аневризма. Ему было слегка за сорок.

Жалко, конечно… Но я уже как-то освоился, и отказать ему не составило большого труда.

Потом был физик. Он был молод и красив, подавал и уже отчасти оправдал большие надежды. Он был велосипедист и альпинист. И погиб в горах, едва ему исполнилось тридцать лет.

Здесь было все ясно – он должен жить вместо меня.

Но не будет. Испепеляемый стыдом, я сидел и молчал. И еле выдавил из себя «нет».

Физик исчез без единого слова.

Я пытался понять, почему я так поступил. И не понял. Но понял, что каковы бы ни были эти «почему», я бы еще раз сказал «нет», случись подобная ситуация. Не знаю, не знаю почему. Но именно так бы и было.

Как будто только теперь до меня дошло, что умирать не хочет никто, и на всех меня не хватит. Даже на двоих меня не хватит. Я становился все более отстранен к просителям, почти их не слушал и только отказывал. Отдать бы эти чертовы годы кому угодно – всяко

больше толку – я уже успел твердо это понять, я бы и отдал, но я не мог. Я не боялся, я просто не мог. Не мог и все.

И посетители исчезли. А я не знал, что мне делать. Я не был живым, но вопроса это не снимало. И кому же донашивать мои годы?

АНГЕЛ

- Он согласился.

Я встрепенулся.

- На что?

- Взять твои годы. «На что»…

- Кто?!

- Шуберт. Не угадал?

Я остолбенел.

Я не смел о таком и мечтать. Я молчал, до меня еще не дошло…

- Двести лет прошло, сколько людей просилось. А выбрал почему-то тебя.

- Много просилось?

- Ну конечно. Думал, ты один такой?

- А я просился?.. Подожди… Твоя работа!

- Не благодари.

И ангел невинно улыбнулся.

Я вдруг спросил:

- А что будет со мной?

- Я говорил тебе, что ты – наш?

- Да.

- Своих не бросаем. Приятно было поработать.

И был таков. Я не успел сказать ему ни «спасибо», ни «прощай».

НАПОСЛЕДОК

Я продлил дни *мудрейшего* из известных мне смертных. Здоровье у меня было нормальное, лет двадцать, думаю, я бы еще протянул, может, и побольше. Ему, конечно, хорошо там, в его стране, но ведь ему был всего только тридцать один год… И потом, - его здесь ждут.

Все-таки под конец дал я слабину. Я пожалел и его, и их. Сам же, кстати, ничего не выиграл, - что бы он ни написал в будущем, я этого не услышу.

Так… С этим разобрались.

Да. Равнодушия к людям мне так и не удалось достичь. К тому же, я недвусмысленно признал ценность жизни, пусть и не моей. Да нет – и своей тоже, я просто окончательно и бесповоротно осознал, что она давно кончилась. Выходит, соврал я ангелу своим «делать мне здесь было нечего», хотя менее всего хотел врать. Так что – крах по всем пунктам.

Но, может быть, это и хорошо…

Ладно. *Сейчас* – делать мне *там* и правда нечего. Так что все складывается как нельзя лучше.

Я на берегу моря, где-то *от зари до полудня на море*, я смотрю на игры волн, слушаю диалог ветра и моря, я смотрю во все глаза, слушаю во все уши, не могу наслушаться и насмотреться, но понимаю, что все это уже напоследок.

ОТПЛЫТИЕ

- В страну песен и снов, - ответил мне чей-то голос.

И я поплыл по медленной реке, иногда поворачивая вместе с течением, без плота, сам по себе. Мне не было мокро, я не слышал плеска. Я отбывал в страну песен и снов, и звезды горели надо мной.